

КУПРИН Александр Иванович родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в уездном городе Наровчате (сейчас Пензенская область) в семье чиновника, потомственного дворянина Ивана Ивановича Куприна (1834–1871), умершего через год после рождения сына. Мать — Любовь Алексеевна (1838–1910), урождённая Кулунчакова, происходила из рода татарских князей. После смерти мужа она переехала в Москву, где прошли ранние годы и отрочество будущего писателя. В шесть лет мальчик был отдан в Московскую Разумовскую школу, откуда вышел в 1880 году. В том же году поступил во Вторую Московскую военную гимназию. В 1887 году был зачислен в Александровское военное училище. Впоследствии опишет свою армейскую юность в повестях «На переломе (Кадеты)» и в романе «Юнкера».

Первым литературным опытом Куприна были стихи, оставшиеся неопубликованными. Первое напечатанное произведение — рассказ «Последний дебют» (1889).

В 1890 году Куприн в чине подпоручика был выпущен в 46-й Днепровский пехотный полк, стоявший в Подольской губернии, в Проскурове. Четыре года служил офицером, военная служба дала ему богатый материал для будущих произведений.

В 1893–1894 годах в петербургском журнале «Русское богатство» вышли его повесть «Впотьмах», рассказы «Лунной ночью» и «Дознание». На армейскую тему у Куприна есть несколько рассказов: «Ночлег» (1897), «Ночная смена» (1899), «Поход».

В 1894 году поручик Куприн вышел в отставку и переехал в Киев, не имея никакой гражданской профессии. В следующие годы много странствовал по России, перепробовав множество профессий, жадно впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих произведений.

В 1890-е годы опубликовал очерк «Юзовский завод» и повесть «Молох», рассказ «Лесная глушь», повести «Олеся» и «Кэт» («Прапорщик армейский»), в 1901 году — рассказ «Оборотень». В эти годы Куприн познакомился с И.А. Буниным, А.П. Чеховым и М. Горьким. В 1901 году переехал в Петербург, начал работать секретарём «Журнала для всех». В петербургских журналах появились рассказы Куприна: «Болото» (1902), «Конокрады» (1903), «Белый пудель» (1903). В 1905 году вышло наиболее значительное его произведение — повесть «Поединок», имевшая большой успех. Выступления писателя с чтением отдельных глав «Поединка» стали событием культурной жизни столицы. Другие его произведения этого времени: рассказы «Штабс-капитан Рыбников» (1906), «Река жизни», «Гамбринус» (1907), очерк «События в Севастополе» (1905).

В этом же году писатель поддержал восстание лейтенанта Шмидта в Севастополе, с которым познакомился лично. На тот момент Куприн проживал в своём доме в Балаклаве. Он приехал в Севастополь, активно выступал в поддержку восставших и даже помог скрыться от расправы матросам крейсера «Очаков». После выхода очерка «События в Севастополе» адмирал Чухнин отдал приказ о выселении его из пределов Севастопольского градоначальства в течение суток, после чего писатель вернулся в Петербург. В 1906 году был кандидатом в депутаты Государственной думы первого созыва от Санкт-Петербургской губернии.

В годы между двумя революциями Куприн опубликовал цикл очерков «Листригоны» (1907–1911), рассказы «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911) и др., повесть «Жидкое солнце» (1912). Его проза стала заметным явлением русской литературы. В 1909 году с семьёй поселился в Гатчине.

После начала Первой мировой войны открыл в своём доме военный госпиталь и агитировал в газетах граждан брать военные займы. В ноябре 1914 года был мобилизован и направлен в ополчение в Финляндию командиром пехотной роты. Демобилизован в июле 1915 года по состоянию здоровья.

Отречение Николая II Куприн встретил в Гельсингфорсе, где проходил лечение, и воспринял его с энтузиазмом. После возвращения в Гатчину работал редактором газет «Свободная Россия», «Вольность», «Петроградский листок», симпатизировал эсерам.

В 1917 году завершил работу над повестью «Звезда Соломона», в которой творчески переработав классический сюжет о Фаусте и Мефистофеле, поднял вопросы о свободе воли и роли случая в человеческой судьбе.

После Октябрьской революции писатель не принял политику военного коммунизма. Работал в издательстве «Всемирная литература», основанном М. Горьким. В это же время перевёл драму Ф. Шиллера «Дон Карлос». В июле 1918 года после убийства Володарского был арестован, три дня просидел в тюрьме, был выпущен и внесён в список заложников.

В декабре 1918 года имел личную встречу с В.И. Лениным по вопросу организации новой газеты для крестьян «Земля», который одобрил идею, но проект был «зарублен» председателем Моссовета Л.Б. Каменевым.

16 октября 1919 года, с приходом в Гатчину белых, поступил в чине поручика в Северо-Западную армию, получил назначение редактором армейской газеты

«Приневский край»), которую возглавлял генерал П. Н. Краснов. После поражения Северо-Западной армии находится в Ревеле, с декабря 1919 — в Гельсингфорсе, где сотрудничает с газетой «Новая русская жизнь», с июля 1920 — в Париже.

В 1937 году по приглашению правительства СССР Куприн вернулся на родину. Возвращению Куприна в Советский Союз предшествовало обращение полпреда СССР во Франции В.П. Потёмкина 7 августа 1936 года с соответствующим предложением к И.В. Сталину (который дал предварительное «добро»), а 12 октября 1936 года — с письмом к наркому внутренних дел Н.И. Ежову. Ежов направил записку Потёмкина в Политбюро ЦК ВКП(б), которое 23 октября 1936 года приняло решение: «разрешить въезд в СССР писателю А.И. Куприну» (проголосовали «за» И.В. Сталин, В.М. Молотов, В.Я. Чубарь и А.А. Андреев; воздержался К.Е. Ворошилов)

По устным воспоминаниям соседей, Куприну была предоставлена квартира в элитном по проекту и по составу жильцов сталинском доме на Выборгской стороне в Лесном по адресу: Ленинград, Лесной проспект, д. 61 (Дом специалистов): Куприн умер в ночь на 25 августа 1938 года от рака пищевода. Похоронен в Ленинграде на Литераторских мостках Волковского кладбища рядом с могилой И.С. Тургенева.

Путевые картинки

I

От КИЕВА ДО РОСТОВА-НА-ДОНУ

Не прошло еще и полутора суток, а уже перед моими глазами промелькнули в вагонном окне четыре замечательнейшие губернии русского юга: Киевская, Херсонская, Екатеринославская и Земля Войска Донского. Сначала прошли, точно в панораме, уютные и грациозные уголки благословенной Украины: мазаные беленькие хатенки, окруженные плетнем и тонущие в зелени «садков», традиционная «криница» дорюриковской архитектуры и возле нее традиционная дивчина в запаске и плахте, с коромыслом на левом плече и с правой рукой, художественно упирающейся в бок; вынырнет иногда из-за дальних холмов зеленая острая крыша деревенской колокольни и, убегая назад, уже прячется за синей, туманной, чуть приметной полоской леса; порою особенно громко застучит поезд, пробегая по мосту, и под ногами у тебя, глубоко внизу, блеснет узкая извилистая речонка, вся такая чистенькая и кокетливая в зеленых, свежих, опрятных берегах; у переезда пара серых круторогих волов в деревянном яме равнодушно провожает своими прекрасными темными влажными глазами несущееся мимо них огненное чудовище.

Утром после кошмарной, почти бессонной ночи, проведенной в грязном, насквозь прокуренном и заплыванном вагоне, выходишь с тяжелой, как свинец, головой на платформу и распахиваешь дверцу. Что за наслаждение! И справа и

слева густой, сплошной лиственный лесок. Внизу у его корней еще таятся сырые, холодные ночные тени, а верхушки, обласканные ранним солнцем, уже засверкали яркой праздничной пестротой осенних красок. Светло-лимонные листья берез, пронизанные солнечными лучами, блестят, как золото, осины стоят совсем пурпурные, один крепкий устойчивый дуб не хочет менять своей темной, твердой, точно из металла вырезанной зелени. А дальше — море нежных, неуловимых оттенков, от розовых до кроваво-красных и пунцовых, от фиолетовых и лиловых до коричнево-бурых. Стоишь и не насытишься утренним воздухом осеннего леса — крепким, тонким и опьяняющим, как аромат старого драгоценного вина.

Кончился лес — опять идут поля. То и дело попадаются навстречу свекловичные плантации — большие зеленые заплаты на желтом фоне сжатых хлебов. На них копошатся разбросанные там и сям пестрые кучки людей, прильнувших к земле. А вот и высокая, закопченная сверху труба сахарного завода выплывает из-за горизонта... За Знаменкой — дорога гораздо скучнее. Начинается степь — Херсонщина, и чем дальше, тем она все ровнее и безжизненнее. Смотришь в окно, и прямо тоска берет. Гладкая серая скатерть выжженных солнцем полей, и над ней опрокинулось такое же гладкое, безоблачное, мутное от зноя небо, на котором редко-редко увидишь черный силуэт ветряка, растопырившего свои крылья, да задумчивый могильный курган. И весь этот громадный, тяжелый пейзаж медленно возвращается навстречу бегущему поезду.

К вечеру местность понемногу меняется. Мы вступаем в область железных руд и каменноугольных залежей, в страну бельгийских анонимных предприятий, чудовищных appetitов и бешеного заводского *delirium tremens*'а [*белая горячка* — лат.]. Опаленная до корней трава отливает на низинах зловещим красноватым цветом; между крутобокими холмами и склонами врезались глубокие узкие балки, мелкая густая пыль висит в воздухе, врывается в вагон и забираясь в книгу, в подушку, в чай и в рот. Навстречу нам ползут длинные товарные поезда, с открытыми платформами, нагруженными красной, точно ржавой комковатой рудой. То и дело на станциях входят в наш вагон и выходят из него бельгийские мастера. В этом крае они, по-видимому, чувствуют себя, как во втором отечестве; с непринужденной простотой разваливаются на диванах, кладут ноги вам на колени и курят из трубок отвратительный табак.

Вот перед нами проносится знаменитое Криворожье. Декорация — прямо из «Роберта Дьявола». Так и кажется, что подземные силы в страшной демонической ярости всколебали здесь почву и, разворотив ее, нагромодили на поверхности гигантские кучи известковых и железных масс, на которых — то высоко вверху над вашей головой, то внизу под вашими ногами — суетятся, как муравьи, человеческие фигуры. Повсюду подъемные краны, эстакады из дерева и железа, а по обеим сторонам полотна — целые горы руды, так давно и в таком количестве нагроможденные, что в тех местах они уже успели обрасти сверху травой. Все это, взятое вместе, производит дикое, хаотическое, но не лишенное сурового величия впечатление.

Однако на эту картину нам не дают насмотреться как следует. Постояв в Кривом Роге одну минуту, поезд свистит и несется дальше. Поезд, который нас везет, курьерский, а запряжен в него локомотив какой-то совершенно новой американской конструкции. Локомотив этот только что прибыл из мастерских Невского машиностроительного завода и не успел еще на своем веку сделать полных двух тысяч верст, но уже, по-видимому, возбудил неудовольствие своего машиниста. Дело

в том, что одна из частей его механизма очень точным и предательским образом отмечает время прихода поезда на станцию и отхода в дальнейший путь. Поэтому на иных уклонах мы летим со скоростью семьдесят пять верст в час, стараясь наверстать время простоя, причем вагоны шатаются, как пьяные. Поэтому же на станциях локомотив визжит капризно и раздражительно, как истеричная дама, когда легкомысленный кондуктор запаздывает со своими свистками. Вероятно, потому же старик машинист, разговорившись со мною во время длинной стоянки, проворчал, неодобрительно косясь на паровоз:

— Оно, конечно, машина, что и говорить, усовершенствованная. Но только в ней одна самая главная трубка действует неправильно.

Во всяком случае, мы подвигаемся вперед с такой скоростью, что я действительно не узнаю Екатерининских дорог. Пять лет тому назад здесь даже курьерские поезда держались мудрого правила «спешить медленно». Отсюда в свое время возникло великое множество чудовищных анекдотов. Рассказывали, например, об одном молодом человеке, который ехал от Харцызка до Дебальцева и на требование контроля предъявил половинный билет. «Но позвольте, — возразил удивленный контролер, — ведь это же детский билет, а вам, по крайней мере, лет двадцать — двадцать пять». — «Совершенно верно, — спокойно ответил молодой человек, — вы не ошибаетесь. Но я взял этот билет в Харцызке еще тогда, когда был маленьким, и вот, как видите, успел достаточно вырасти в дороге».

Злые языки называли прежде эту дорогу «заячьей дорогой», потому что по ней провозилось и под скамейками, и в скотских вагонах, и на крышах, и в других местах чуть ли не 95 % безбилетных пассажиров. Как теперь, не знаю.

Наступает ночь — темная, сентябрьская, безлунная ночь. Мы приближаемся к Екатеринославу, и то и дело проходят мимо нас в своем ужасном великолепии колоссальные металлургические заводы. Я давно уже запорошил себе оба глаза, но все-таки не могу оторваться от окна. Сначала видишь далекое зловещее зарево, потом вырисовываются длинные трубы и мрачные черные башни доменных печей, и вдруг за внезапным поворотом вырастает перед вами весь завод, точно громадный город, подоженный с четырех сторон, — в тучах дыма, в огне, в голубом сиянии электрических фонарей. И с каким-то странным чувством, не то жутким, не то гордым, провожаешь его глазами до тех пор, пока он не скроется в глубокой лощине.

Вот, наконец, и Екатеринослав со своим рельсопрокатным заводом, вытянувшимся около самого полотна, и с мостом через Днепр. Великий старик широко и могущественно протекает внизу, и на его черной, дремлющей поверхности дрожат золотыми полосками отражения редких прибрежных огней.

Утро застает нас в Таганроге. Отсюда до Полтавы дорога идет почти все время берегом Азовского моря. Ветра нет, и гладкая, невозмутимая поверхность моря лежит, точно ровная свинцовая доска, блестя лишь у берегов зубчатой стальной каймой. Ни одного пароходного дымка, ни одного паруса не заметил я за эти два часа на его заснувшей глади; только у берегов кое-где торчат засевшие на мель неуклюжие баркасы. За полверсты от Ростова мы почему-то останавливаемся среди чистого поля и стоим чуть ли не полтора часа. Поездная прислуга играет в три листика, а мы меланхолично созерцаем текущий справа от пути тихий Дон и единственную двухмачтовую старую шхуну, стоящую у берега.

От Ростова до Новороссийска. Легенда о черкесах. Тоннели

На пути от Ростова к Новороссийску самый важный железнодорожный пункт — станция Тихорецкая. Это узел, от которого поезда расходятся по трем направлениям: на Новороссийск, на Владикавказ и на Царицын. Отсюда же мы вступаем в Кубанскую область.

Какой привольный, богатый и, по-видимому, сытый край эта Кубанская область! Смотришь в окно и не налюбуйешься. На жатных нивах сложены из снопов целые дворцы; на полях гуляет рослый, кормленный и холеный скот; земля, приготовленная под посевы, — черная, жирная, пряник, а не земля! — воскликнул бы в завистливом восторге наш рязанский или смоленский мужик, обиженный на этот счет матерью-природой; большие станицы, разбросанные широко по сочным лощинам, окружены виноградниками. Лесу, правда, совсем нет, так что заборы приходится здесь возводить из дикого камня, накладывая его плиткой на плитку.

За Тихорецкой начинает чувствоваться близость Кавказа. На станциях то и дело видишь стройных, бородатых, смуглых людей в черкесах и папахах, с кинжалами у пояса. В буфетах подают уже не зельтерскую воду, а нарзан в небольших бутылочках, причем услуживает вам восточный человек во фраке, глядящий на вас своими большими, красивыми и печальными глазами. Пассажиры — большей частью армяне, грузины и греки, не считая преобладающего элемента — местных казаков. Как только сойдутся и разговорятся два-три человека, сейчас же сводят речь на вино; это теперь — в разгар виноградного сбора — самый жгучий вопрос. Повсюду на станциях продается окрестными казачками виноград в баснословном количестве и поразительно дешево: пять копеек два фунта.

Едем мы с самой «тихой скоростью», какую только можно себе представить, так что в Новороссийск приходим без всяких уважительных причин с опозданием на два с половиной часа и на станциях стоим страшно долго. Однако никто этим не возмущается и не высказывает по этому поводу гражданского негодования. Вероятно, каждый поступает так, как и я. Умножает количество минут, объявленных кондуктором, на три и успокаивается.

Зато вагоны на Владикавказской железной дороге прекрасные — длинные-предлинные, пульмановского типа, чистенькие и поместительные. Сидишь и прислушиваешься к ритмическому ходу поезда, покачиваешься на диване плавно и легко, точно в люльке.

Напротив меня сидят рядом: офицер Черноморского казачьего войска и молодой, благообразный батюшка в новой рясе; рядом со мною поместился приземистый усатый господин в охотничьем костюме, с двумя ружьями в чехлах и с черной сигарой, необыкновенно скверного запаха, во рту. По другую сторону прохода на коротких боковых местах расположилось двое грузин: один лет двадцати трех — двадцати пяти, красивый, задумчивый и молчаливый, другой — пожилой, толстый, с веселыми маленькими глазами и красным носом, общительный и бывалый человек.

Пожилый грузин достает из-под дивана бурдюк и цедит из него вино в большую бутылку через самодельную бумажную воронку. Обхватив нежно и бережно левой рукой бурдюк, он медленно наклоняет его сосочек вниз и, поджав губы и наморщив лоб, напряженно следит за тонкой желтой струйкой, звучно текущей в

бутылку. Он священнодействует, и весь вагон с живейшим любопытством следит за его руками.

Наполнив две бутылки, он достает из корзинки провизию: жестянку с зернистой икрой, сыр и вареную курицу. При этом он скороговоркой объясняет нам с веселой и лукавой улыбкой, показывая на своего товарища:

— Он еще молодой. Он еще не знает, как ездить по железной дороге. А я старый, я все знаю, я всегда с собой беру всякий хурда-мурда.

Закусив, они принимаются за вино, пьют из одного стакана поочередно и с такой внушительной манерой, как будто бы исполняют какой-то важный старинный обряд. Возьмет стакан, посмотрит долго и серьезно в лицо товарищу, проговорит какую-то длинную грузинскую фразу, должно быть, приветствие, и выпьет. Господин в охотничьем костюме спросил, не кахетинское ли вино они пьют.

Пожилой грузин тотчас же вновь наполнил стакан и протянул его охотнику.

— Пожалуйста, попробуй... пожалуйста, пожалуйста.

Охотник, улыбаясь, отказывался, но грузин с такой искренней и наивной настойчивостью твердил свое «пожалуйста, пожалуйста», что охотник сдался. Потом грузин обратился со стаканом к офицеру. Офицер, по-видимому хорошо знакомый с местными обычаями, прежде чем пить, также пристально посмотрел в лицо грузину и сказал: «Алла верды!», на что последний радостно и торопливо произнес: «Якши-ол! якши-ол!..» Та же участь не минула и меня с батюшкой. Вино оказалось превосходным: крепким, нежным, с удивительно тонким букетом.

После этого, конечно, завязался общий разговор. Больше всех болтал, жестикулируя, смеясь и забавно, но не неприятно коверкая русскую речь, пожилой грузин. В какие-нибудь три минуты мы успели узнать, что наш собеседник торгует «шкуркам с барашкам», что он едет с нижегородской ярмарки, на которой был в своей жизни уже двадцать один раз, что «шкуркам» в этом году торговали необыкновенно бойко благодаря большому спросу на тулупы для войск, отправляемых в Китай, что и вообще ярмарка была лучше среднего и т. д. Затем он как-то особенно ловко, хотя и не совсем кстати, перескочил на свою благословенную Грузию: какие там богатые виноградники, какой скот, какие леса и горы, какая чистота семейных нравов!..

Батюшка посмотрел в окно, задумчиво погладил бороду и вздохнул.

— Вот тоже была страна, где текли молоко и мед, — произнес он, ни к кому, в частности, не обращаясь.

— Вы это про что, собственно, батюшка? — спросил охотник.

— Да про весь вообще Северный Кавказ. Старики и теперь вспоминают, как здесь жилось при черкесах. Вы поглядите-ка в окно. Голо, пусто, хоть шаром покати. А прежде здесь вековые леса росли, фазаны, дикие кабаны, олени водились, поля каналами орошались — мало ли чего не было... Когда после бунта выселились черкесы в Малую Азию, а сюда пришли на их земли неведомые, хищные люди, все и пошло, и пошло вверх ногами. Смотреть жалко-с.

— А вы слышали когда-нибудь, батюшка, как отсюда черкесов греки перевозили? — спросил господин в охотничьем костюме.

Батюшка поморщился.

— Слышал я что-то... Да бог знает, правду ли говорят, — произнес он уклончиво и неохотно.

— Нет, отчего же?... Очень даже правдоподобно. Вы, господа, слышали эту историю? — продолжал охотник, обращаясь ко мне и к офицеру. — Ужасная история!

Когда черкесы выразили желание переселиться в Малую Азию, то для них, видите ли, зафрахтовывались греческие фелюги. Вот таким манером какой-нибудь этакий греческий пиндос наберет полное судно черкесов с женщинами и ребятишками и везет. Черкесы, конечно, народ горный, верховой, качка для них хуже смерти. Как выехали в открытое море, так все пластом и полегли на палубе. А народ на этих шхунах и фелюгах известно какой — сброд самый отчаянный, головорез на головорезе. Даже и в теперешнее время придет иной раз в Новороссийск такое суденышко, так на экипаж и посмотреть-то жутко — прямо разбойники. Сразу видно, что и буря ему никакая не страшна и человеческая жизнь не стоит ни копейки. Да и тут еще, вдобавок, за погибшего черкеса никакой ответственности нельзя было ожидать, потому что, с одной стороны, он от России как бы отрекся, а с другой стороны, не успел еще принять турецкого подданства... Ну вот, и погибали черкесы целыми сотнями на море. Конечно, обирали их раньше... Многие грекосы с тех самых пор поразжились. Теперь миллионеры... Да на что вам лучше: в Гелендушке и по сие время живет грек Попандопуло. Поговорите-ка с ним, он вам все это подробно изложит — как и как, потому что сам грузил черкесов на фелюги... И старики тамошние тоже вам подтвердят.

— Ну уж это вы, кажется, из веселых рассказов, — недоверчиво покачал головою офицер. — Что-то уж очень необыкновенно...

Пожилой грузин вдруг заволновался:

— Зачем веселый? Никакой нет веселый, одна настоящая правда. У нас в городе до сих пор старик живет, его тогда в Трапезунд продали, он все это хорошо помнит.

И грузин, горячась и размахивая руками, рассказывает очень колоритно о том, как его знакомого старика черкеса, в то время бывшего еще десятилетним мальчиком, родители привезли в Трапезунд. Поселиться черкесам было негде, землей их не наделяли, поневоле приходилось бедствовать и голодать. Некоторые семьи, для того чтобы просуществовать неделю-другую, продавали своих детей в рабство. Не избег этой участи и герой рассказа. Его продали оптовому торговцу невольниками за поразительную цену — за один хлеб и девять фунтов зеленого лука. И счастью, мальчик понравился своему новому хозяину — человеку, кстати, бездетному, — и тот, продав весь свой «гурт» другому купцу, выпросил себе мальчика в качестве «бешкеша», вырастил его в своем доме, образовал и поставил на хорошую дорогу. Теперь старик — богатый человек, переехал из Турции на Кавказ и живет там в большом почете от всех знакомых и незнакомых.

— Эта история правдоподобная, — веско заметил священник.

— Значит, здесь не осталось ни одного черкеса? — спросил я.

— Остаться-то остались, — ответил господин в охотничьем костюме, — да что же это за черкесы? Нанимаются сторожами на фермы и заводы... голытьба, безземельные... Даже в хваленую их верность хозяевам что-то перестают нынче верить. А настоящего, прежнего черкеса теперь и на лекарство не найдешь... Однако вот и горы показались, значит, подъезжаем к Северной. Надо собираться.

Я подошел к окну. На горизонте высился темный волнистый хребет; из-за его ложбин поднимались вершины другой, более дальней цепи, окруженные фиолетовой дымкой, и наконец самые отдаленные горы белели чуть заметно на заднем плане, точно осевшие вниз легкие облака. Вся местность у подножия гор, куда только мог хватить глаз, была усеяна мелкими круглыми кустиками, похожими издали, если прищурить глаза, на большое разбежавшееся стадо зеленых овец.

Странное и сложное чувство испытываешь, когда видишь горы в первый раз. Они и волнуют, и притягивают к себе, но в то же время вам кажется, что вы где-то уже видели все это раньше, не то во сне, не то в детстве на картинках, не то в каких-то смутных, таинственных, давно забытых грезах.

Горы тянутся по одну сторону полотна; по другую — те же поля, с пасущимся на них скотом, станицы, хлеб, сложенный в форме домов, и ветряные мельницы. Целые десятки верст подряд вы видите — налево горы, направо — плодородную равнину. Но понемногу горы начинают забегать вперед, вот они уже высятся впереди поезда, вот показались и с правой стороны, — еще несколько поворотов — и вы мчитесь в глубокой тенистой лощине, между двумя крутыми скатами, густо обросшими мелким кудрявым кустарником.

Перед станцией «Тоннельной» в вагон входит младший кондуктор и зажигает в фонарях свечи. Сейчас поезд должен войти в один из самых длиннейших тоннелей в России.

Начиная от «Тоннельной», я высовываюсь в окно и с любопытством заглядываю вперед. Пройдя с версту, поезд замедляет ход, и я вижу вдали кусочек каменной арки, врезающейся в зеленую гору. Эта арка растет, растет, я уже вижу за ней темную стену каменного свода и... наш поезд медленно поглощается непроницаемым мраком. Холодный сквозняк вместе с запахом сырости и спертого, тяжелого воздуха врывается в вагон. Секунды тянутся мучительно, бесконечно долго. Стоять, высунувшись в окно, и глядеть вперед становится тяжело и жутко, жутко до какого-то острого, болезненного, физического ужаса. Так и кажется, что эта сырая, черная бездна будет продолжаться нескончаемо, что она похоронит поезд в своих холодных недрах. Мелькает вдали, медленно вырастая, слабая светлая точка, и вы уже собираетесь вздохнуть с облегчением, глубоко, во всю грудь... Нет! это только жалкий бледно-зеленый железнодорожный фонарик. Поезд проходит мимо него, гроыхая и сотрясаясь на стыках рельс, и опять та же страшная темнота и сырой, затхлый воздух. Вот, наконец, и выход. Вы заметили его сначала в виде длинной, тонкой, как лезвие ножа, светлой щели. С радостью замечаете вы, как шире и шире становится эта щель, как понемногу начинают освещаться тусклым блеском вагонные стенки и влажные темные плиты свода, и вдруг, вместе с торжествующим, пронзительным свистом локомотива, вторгается в вагон яркое сиянье светлого осеннего дня, запах полевых трав и голубое, синее небо!.. Целых семь минут мы находились под нависшей над нашими головами горой в несколько миллионов пудов весом.

За тоннелем горы идут по обеим сторонам полотна, которое, как змея, вьется между живописными скалами вдоль глубоких лощин. Склоны гор, точно пестрым ковром, густо одеты кустарником. Среди желтых и зеленых тонов резко выделяются там и сям красные пятна. Это знаменитое кавказское дерево «скампия», по-русски «негной дерево». Нижние части гор обнажены от земли и прослоены пластами правильных серовато-белых плиток замечательного в своем роде камня, который носит местное название «трескун». Назвали его так потому, что, будучи извлечен из земли, он обладает крепостью мрамора, но, пролежав несколько дней на воздухе, быстро выветривается, трескается и обращается в порошок. Все земли в окрестности, годные под виноградники, обыкновенно на целый аршин, а то и больше, покрыты трескуном, и для того, чтобы культивировать в этих местах почву, необходимо раньше произвести плантаж, то есть разрыхлить кирками породу и перевернуть ее сверху вниз.

Через несколько верст мы ныряем в другой тоннель, на этот раз, к счастью, не более как на минуту или полторы, и, когда выскакиваем из него, перед нами разворачивается спокойное, глубоко-синее море и вдали круглая прекрасная бухта Новороссийска, как кольцом окаймленная со всех сторон горами. Далеко вправо еле-еле мерещится в тумане Анапа. Показываются окраинные домики Новороссийска, величаво проходят мимо нас огромные башни знаменитого элеватора, и мы останавливаемся. Вокзал маленький, темненький и грязненький. Подниматься нужно в него по длинной лестнице, которая оканчивается площадкой. Налево от этой площадки двери вокзала, а направо большой парапет, легко повиснувший в воздухе. С парапета открывается чудный вид на бухту и на Дообский маяк, а на столбе, поддерживающем его крышу, красуется надпись: «Пассажирам III класса вход на террасу строго воспрещается». Очевидно, новороссийские инженеры боятся, что серая публика испачкает им этот очаровательный ландшафт, один из самых живописных в России.